

Александр Мелихов

Советский патриотизм и голос крови

Репрессии, обрушенные Сталиным на еврейские головы в конце сороковых, часто объясняют его «зоологическим» антисемитизмом. То есть животным, хотя животные не различают людей по национальному признаку. Животные ненавидят то, в чем видят опасность, и этим ничем не отличаются от людей. Сталин жил политической борьбой и ненавидел то, что могло помешать ему в этой борьбе. А евреи могли сделаться помехой еще в полуподпольной фазе его политической карьеры.

Еще в феврале 1913-го Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы». У нас — это в Кракове. А журнал «Просвещение» легально выходил в Петербурге с декабря 1911-го по июль 1914-го. В художественной тетрадке принимал участие Горький, да и сам Ленин тоже там печатался. Вот в этом-то «Просвещении» Сталин и опубликовал свою программную статью «Марксизм и национальный вопрос».

По словам Сталина, Ленин ее даже редактировал, и когда оппоненты попытались представить статью дискуссионной, Ленин взорвался: «Статья *очень хороша*. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на иоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». О Бунде можно прочесть в Малой советской энциклопедии 1933 года, что это был Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, постоянно дезорганизовывавший деятельность социал-демократической партии, пытаясь перестроить ее «на федеративных началах по национальному признаку»; «после Октября значительная часть Бунда перешла в контрреволюционный лагерь» или сделалась «ярким социал-фашистским отрядом 2 Интернационала».

Но в мирном довоенном Кракове Сталин пока что изучал, каким образом австрийские социал-демократы Отто Бауэр (ассимилированный еврей) и Рудольф Шпрингер (псевдоним Карла Реннера, избранного в 1945 году президентом Австрии) намереваются обустроить совместную жизнь наций при социализме в их многонациональной империи. *К. Сталин* (так была подписана статья) засел за эти отдаленные прожекты только потому, что его собственная социал-демократическая партия в «период контрреволюции» проявила склонность «межеваться» по национальному признаку. Национализм грозил пролетарскому единству. И чем же должна была с ним бороться социал-демократия? «Противопоставить национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы». Сталин возмущался нелепым поведением социал- вроде бы демократического Бунда, который «стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, литературный критик, публицист, зам. главного редактора журнала «Нева». Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат многих литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

цели: дело дошло до того, что “празднование субботы” и “признание жаргона” объявил он боевым пунктом своей избирательной программы». (Жаргоном Сталин именовал идиш, но тогда это название не было снижающим, сам Шолом-Алейхем называл свой язык жаргоном.)

За Бундом поднял бунт Кавказ... В итоге, срочно потребовалась «дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел».

И вот явился четкий постулат: «Нация складывается только в результате длительных и регулярных общений, в результате совместной жизни из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории».

Следовательно евреи не нация. А нация — «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Чудесный грузин уже тогда вынес еврейскому народу свой приговор: «Можно представить людей с общим “национальным характером” и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и т.д. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские и горские *евреи*, не составляющие, по нашему мнению, единой нации».

А если им кажется, что составляющие?

Креститься надо, если кажется.

А вот они упорно не крестились — держались за свое ни на чем не основанное психологическое единство. Которое, однако, Шпрингер и Бауэр, считали главным признаком нации. Нация по Шпрингеру — «культурная общность группы современных людей, не связанная с “землей”». Бауэр отказывается и от языка: «Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию». Нация для Бауэра — «вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы».

Один из виднейших духовных вождей дореволюционного российского еврейства, историк и общественный деятель Семён Маркович Дубнов тоже придерживался концепции духовного, или культурно-исторического, национализма, полагая нацию культурно-исторической категорией, а потому считал, что еврейскому народу не нужна особая территория — с него довольно культурной автономии. Но на подобную мелюзгу Сталин не тратил полемических зарядов (хотя впоследствии охотно расходовал заряды пороховые). Он метил в лидера австромарксизма и социал-предателя Отто Бауэра: «Бауэр говорит о евреях как о нации, хотя и “вовсе не имеют они общего языка”, но о какой “общности судьбы” и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?»

Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере; это не может не накладывать на их национальный характер своей печати; если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на “судьбу” упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить об евреях вообще как об единой нации.

Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего “национального” духа спиритуалистов?»

Тем, отвечу я, что в человеческой фантазии нет ничего мистического, но она, тем не менее, есть то главное, что отличает человека от животного. Человека от животного отличает способность относиться к плодам своей коллективной фантазии гораздо более серьезно, чем к реальным предметам: самые высокие и прекрасные

творческие подвиги человек совершил и совершает, служа воображаемым целям. Более четверти века назад я написал в «Исповеди еврея», что нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и смягчить эту формулу я могу лишь стилистически: нацию создает общая мифология, воображающая нацию по образу и подобию семьи — именно из семейного опыта национальная пропаганда черпает свои базовые образы: царь-батюшка, родина-мать, отец нации, братские народы, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер...

Но для Сталина «психологические остатки» суть что-то заведомо презренное: «Что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга (говорят на разных языках), живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время?!»

Нет, не для таких бумажных «наций» составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой».

Заставляющими считаться с собой... В этом суть сталинской политики: считаться только с тем, что *заставляет* считаться с собой. Это относится и к русским, и к американцам, и к троцкистам, и к кулакам, и к католикам: сколько у римского папы дивизий? Евреи просто стоят в том же ряду: сумеют они заставить считаться с собой — значит они нация, не сумеют — пусть не рыпаются.

Но если не религия и прочие «психологические остатки», то что тогда, по Сталину, создает нацию? Как что — буржуазия, «буржуазия — главное действующее лицо», а «основной вопрос для молодой буржуазии — рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее цель». А почему бы, наоборот, не сомкнуться с буржуазией иной национальности ради победы над своей? Нет даже и вопроса.

«Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к “родным низам” и начинает кричать об “отечестве”, выдавая собственное дело за дело общенародное», — как видите, слово «отечество» можно писать только в кавычках, ибо классовые интересы важнее национальных, «общенародных», которых, впрочем, даже и не существует: они только средства для реализации классовых. Остается лишь поражаться глупости низов, из века в век согласных сражаться за чужое дело. Ибо народ как целостная структура для дела Ленина-Сталина не представляет никакой ценности, тогда как для большинства нормальных людей принадлежность к чему-то великому и потенциально бессмертному служит экзистенциальной защитой от ощущения своей мизерности и бренности.

И вот итог: «Национальная борьба в условиях *подымающегося* капитализма является борьбой буржуазных классов между собой». Не конфликт грез, самый непримиримый из конфликтов, а рациональный конфликт интересов — вот что такое, по Сталину, национальная борьба. Можно бесконечно спорить, ненавидел ли Сталин евреев без всякой причины (чего никогда не бывает) или ненавидел их лишь тогда и в той степени, когда начинал видеть в них опасность (как бывает почти всегда, вернее, просто всегда). Но если вдуматься в его принципы, выраженные в предельно открытой и респектабельной форме, то из них отчетливо явствует, что ни на какую особую еврейскую жизнь российские евреи рассчитывать не могут. А если они попытаются заставить считаться с собой, он им покажет, кто с кем должен считаться.

Право же наций на самоопределение вовсе не абсолютное право, а лишь техническое средство ослабить межнациональную вражду, чтобы максимально усилить классовую, чтобы объединить низы всего мира против верхов. Право наций на самоопределение, повторяет Сталин, социал-демократия будет поддерживать только тогда, когда это помогает создать «единую интернациональную армию».

¹ А во время Второй мировой войны отправит делегацию Еврейского антифашистского комитета собирать деньги у американских евреев. И соберет! — А.М.

А все попытки выделить хотя бы даже и внутри этой армии отдельный национальный полк будут караться — в тихом предвоенном Кракове «К.Сталин», скорее всего, и сам еще не догадывался, с какой чудовищной и даже избыточной жестокостью.

Но какой же способ сосуществования в одном государстве различных наций (причем не только тех, кто заставлял с собой считаться) предлагал Отто Бауэр? К.Сталин излагает программу своих противников достаточно объективно: их цель — культурно-национальная автономия. «Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенным, главным образом, чехами и поляками, — а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно — какую бы местность Австрии они ни населяли.

Потому-то автономия эта называется *национальной*, а не территориальной.

Это значит, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и т.д., взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и, как таковые, входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории.

Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, должностные лица, будут созданы в этих целях для поляков, чехов и т.д., будут ведать не “политическими” вопросами, а только лишь “культурными”. Специфически политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте (рейхсрате).

Поэтому автономия эта называется еще *культурной*, культурно-национальной.

Иными словами, по Шпрингеру и Бауэру, национальность не связывается ни с какой фиксированной территорией, нации становятся союзами отдельных личностей — при том, что никакому из этих союзов не предоставлено исключительного господства ни в какой области.

Очень интересная идея — нации-союзы... То есть, если какая-то нация, как, скажем, те же евреи или цыгане, всюду составляет национальное меньшинство, она все равно обретает равные права с другими, «компактными» нациями.

А каким образом, обретают правовой статус нации-союзы? На основе свободных заявлений совершеннолетних граждан: каждый сам решает, кем зваться — немцем, чехом, поляком или евреем, — и после этого обретает право выбирать и быть избранным в *национальный совет*, который будет заниматься национальными школами, национальной литературой, наукой, искусством, устройством академий, музеев, театров и проч. И этой возможности его не сможет лишить (демократическим путем!) никакое национальное большинство, поскольку даже самой маленькой нации будет законодательно причитаться определенная доля общегосударственных доходов (например, пропорциональная вносимым национальной корпорацией налогам). Нация как добровольный союз может исчезнуть лишь в том случае, когда не станет охотников себя к ней причислять.

Трудно даже сразу и оценить, какие перспективы это открывает. Зато сразу ясно, какую перспективу это закрывает — именно ту, о которой мечтали Ленин и Сталин. Им хотелось, чтобы их армия, «единая интернациональная», была монолитной, а армия, им противостоящая, раздробленной. «Не ясно ли, что национально-культурная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы?» — гневно вопрошает К.Сталин.

И даже всему ходу развития человечества! Цитирую К.Сталина далее: «Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в сороковых годах говорил, что “национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают”, что “господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение”». История обеих мировых войн, распад Советского Союза, кажется, не слишком это подтверждают. Противостояние позитивистского Запада воинствующему исламу тоже, скорее, снова раскрывает нам историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных

фантомов, коллективных грез. Но Сталин желал считать собственную грезу о единственном и едином прогрессивном классе единственно верной истиной.

Идея национальной автономии подготавливает почву не только для обособления наций, но и — страшно сказать! — для раздробления единого рабочего движения. И первой пятой колонной оказалась та самая нация, которая в советские времена помечалась пятым пунктом. Та нация, скорое исчезновение которой предрекал не только Карл Маркс, но и Отто Бауэр.

Все в той же статье «Марксизм и национальный вопрос» Сталин пишет: «Невозможность сохранения евреев, как нации, Бауэр объясняет тем, что “евреи не имеют замкнутой колонизированной области”. Объяснение это, в основе правильное, не выражает, однако, всей истины. Дело, прежде всего, в том, что у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как “национальный рынок”. Из 5—6 миллионов русских евреев только 3—4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96 процентов заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и, вообще, живут в городах, причем, рассеянные по России, ни в одной губернии не составляют большинства.

Таким образом, вкрапленные в инонациональные области в качестве национальных меньшинств, евреи обслуживают, главным образом, “чужие” нации и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профессий, естественно приспособляясь к “чужим нациям” в смысле языка и пр. Все это, в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной развитым формам капитализма, ведет к ассимиляции евреев. Уничтожение “черты оседлости” может лишь ускорить ассимиляцию.

Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьезный характер: предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно еще доказать!»

И однако же, еврейский Бунд (Союз!) все-таки становится на курьезную позицию сохранения нации, чье существование сомнительно, а скорая гибель несомненна. И почему? Только потому, что, лишенный территориальной базы, он обречен «либо раствориться в общей интернациональной волне, либо отстоять свое самостоятельное существование как экстерриториальной организации. Бунд выбирает последнее».

Чтобы сохранить свою «нацию» (кавычки принадлежат К.Сталину. — *А.М.*), «сторонникам национальной автономии приходится охранять и консервировать все особенности “нации”, не только полезные, но и вредные, — лишь бы спасти “нацию”, лишь бы “уберечь” ее. На этот опасный путь неминуемо должен был вступить Бунд. И он действительно вступил...» Иными словами, начал отстаивать отдельное право “жаргона”, право еврейского пролетариата праздновать субботу, — а затем, предрекает автор, надо думать, «потребуется права празднования всех старо-еврейских праздников».

К.Сталин совершенно прав: национальное возрождение непременно требует как минимум доброжелательного интереса даже к самым архаическим обычаям своего народа. Что бесспорно отвлекает от единого интернационального дела разрушения современной цивилизации.

Можно еще долго вчитываться в этот основополагающий труд и находить там все новые и новые глубины, однако уже из разобранного ясно: чтобы понять отношение Сталина к идее еврейского национального возрождения, не требуется зарываться в сталинское подосознание или перебирать разные глупости и грубости, которые он отпускал по адресу евреев в минуту веселости или ярости. Если только внимательно прочесть, что он писал обдуманно и спокойно, имея полную возможность перечитывать и обсуждать написанное, а впоследствии несколько не препятствуя миллионам людей десятилетиями заучивать наизусть, — из прочитанного будет ясно, что к еврейскому национальному возрождению он относился примерно так же, как к гальванизации

трупа — который при этом, агонизируя, еще и успеваеет расстроить сплоченные интернациональные колонны голодных и рабов.

Сталин в принципе относился бы точно так же и к стремлению строить отдельную французскую или отдельную английскую культуру, но, к сожалению, до поры до времени то были нации, заставляющие считаться с собой.

Неприязненное и подозрительное отношение Сталина ко всякой культурной и политической активности еврейской «нации» — особенно внутри подвластной ему страны — не было результатом бессмысленной ненависти ко всему еврейскому, но было плодом обдуманых убеждений, сложившихся еще в эпоху публикации в «Просвещении». А тем добродушным людям, которые хотели бы противопоставить плохому Сталину хорошего Ленина, напому не только о полном одобрении Лениным сталинской позиции, но и о том, что самый человечный человек называл евреев даже не «нацией» в кавычках, *нокастой* и утверждал, что еврейская национальная культура — лозунг раввинов и буржуа, а против «ассимиляторства» могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории.

Судите же, какие розы заготовил Гименей, благословляя сожителство еврейского народа с советской властью.

Впрочем, если бы евреи сделались «нормальной» нацией...

То есть такой, как все. «Как все» в России долго означало «как русские».

В эпоху Николая Первого, когда перед Россией стояла историческая задача вестернизации, либерализации, формирования свободного рынка труда и его продуктов, формирования свободной финансовой системы, Государь император именно ту часть населения, которая была к этому наиболее приспособлена (евреев), возжелал превратить в землепашцев, ибо в торговых и финансовых навыках евреев совершенно справедливо видел опасность для существующего уклада. Но, разумеется, аграризация евреев, не вписывавшаяся ни в их привычки, ни в их национальные грезы, не принесла ни той, ни другой стороне почти ничего, кроме неприятностей и убытков.

Солдатчина же при всех ее ужасах — возможно, оказалась более эффективным орудием «нормализации» евреев. По крайней мере, такой основательный исследователь, как Йоханан Петровский-Штерн («Евреи в русской армии», М., 2003), приходит именно к этому выводу: «армия сыграла решающую роль в модернизации евреев России» и даже подготовила заметную часть кадров будущей военной организации Хагана, впоследствии переросшей в армию обороны Израиля.

Нормализовать евреев вознамерились, разумеется, и строители нового мира. Но что для них было нормой? Годилось и исчезновение, ассимиляция евреев, — это было бы вполне по Марксу-Ленину-Сталину. Но неплохо было бы и предварительно переверстать их в пролетариев. Или сделать их нацией как нацией — со своей территорией, где они наконец могли бы сделаться большинством, а не меньшинством; причем большинством, имеющим собственное прикрепленное к земле крестьянство, — это тоже вписывалось в большевистские теории, всегда подгонявшиеся под злобу дня.

Хотя — зачем? Ведь все равно всем нациям предстояло слиться в одну, советскую? Честно скажу: не знаю. Однозначно сказать, чего хотели большевики, заведомо невозможно: утопические цели требовали одного, а задачи завоевания, удержания и укрепления власти совершенно другого. Как всякая мало-мальски приличная всемирная греза, марксизм-ленинизм представлял собой противоречивую систему, благодаря чему каждый, кто был ею зачарован, имел полную возможность очаровываться каким-то близким лично ему аспектом, не обращая внимания на отрицающие его аспекты, чарующие других. Однако при попытке построить что-то реальное по чертежам, разные листы которых отрицают друг друга, воплощения противостоящих аспектов начинали сталкиваться с катастрофическим грохотом.

Свобода вдребезги расширялась о тотальное планирование; стратегические цели пролетарской армии — мировое господство — требовали жесточайшей эксплуатации тех же самых пролетариев; интернациональное единство страны требовало подавления

пресловутого права наций на самоопределение, — к которому сами национальные меньшинства и даже кое-кто из большевиков-идеалистов относились с опасной серьезностью. А перечень всех этнических групп дотягивал до 800 наименований; в 26-м году примерно пятьсот упразднили, а в 36-м Сталин говорил уже о шестидесяти.

Сталин, глава Наркомата по делам национальностей, полагал, что армейская дисциплина — а учреждаемое государство и мыслилось чем-то вроде передового отряда будущей всемирной армии — несовместима с независимостью отдельных национальных полков и дивизий. А потому сразу отчеканил: уважаться может не самоопределение буржуазии, а самоопределение трудящихся масс (впоследствии всякую попытку заговорить об отдельных национальных интересах, хотя бы и культурных, всегда называли национализмом не каким-нибудь, а именно буржуазным). Поскрести иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста, отреагировал Ленин; Ильич, разумеется, тоже прекрасно понимал, что первейшее условие политической борьбы — быть сильным, но вместе с тем он всерьез опасался, что русский патриотизм («великорусский шовинизм») сумеет борьбу за торжество международного рабочего класса трансформировать в борьбу за торжество русского государства — что русская национальная греза одолеет интернациональную. «Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримых лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего мира» (В.И.Ленин).

Армейская централизация внутри партии была для Ленина альфой и омегой государственной мудрости — центральные комитеты национальных компартий были приравнены к территориальным: все периферийные органы «ордена меченосцев» должны были быть идеально послушны центру. Но — центру «общепролетарскому», а не русскому, «классовое» доминирование не должно было превращаться в национальное. Патриотические чувства, порождаемые национальными фантомами, Ленин считал едва ли не самым могучим препятствием на пути к мировому господству фантомов пролетарских.

Сталин же занимал более прагматическую позицию: почему бы не сгруппировать более слабые национальные отряды вокруг самого сильного — русского, если это улучшает управляемость да к тому же приближает слияние наций в одну. В августе 1922 года Сталин подготовил проект резолюции пленума ЦК, который планировал включение «независимых» Советских республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР. Чудесный грузин в письме к Ленину пытался убедить дряхлеющего льва в том, что хаос в отношениях между центром и окраинами становится нетерпимым, а потому пора положить конец игре в независимость: либо реальная независимость и невмешательство центра, либо реальное объединение республик в одно хозяйственное целое.

Ленин, однако, грезил неким Союзом советских республик Европы и Азии, куда вот-вот вольется пробуждающийся Восток, да и лозунг «Даёшь Европу!» призывно пел в его ушах...

И если бы не его смерть, трудно сказать, что бы он еще наворотил, прежде чем его наконец скрутили, — скорее всего, сами его верные ученики, видя, что он снова и снова готов ставить на карту чудом свалившуюся на них победу.

Покорить мир во главе Российской империи, предварительно истребив в ней все русское (не людей, разумеется, а их национальные мнимости), — это было слишком смело даже для большевиков. А Сталин не видел большой опасности в том, чтобы в так называемом интернациональном государстве доминировал русский язык, а главным столичным городом сделалась древняя русская столица, — лишь бы сам русский народ оставался в безоговорочном у него повиновении. Поэтому он, с одной стороны, старался удержать в узде могучего русского медведя, которого большевики хотя и сумели взнуздать, но продолжали опасаться, а потому по-прежнему называли великорусский шовинизм «основной опасностью», — с другой же стороны, он понимал, что опираться на безопасное, то есть на бессильное, невозможно. Он лишь

пресекал национальные порывы железным принципом: право наций на самоопределение должно быть подчинено праву рабочего класса на укрепление своей власти.

А рабочий класс — это был он.

Прежде всего власть, теории подождут. И если для укрепления власти в минуту смертельной опасности со стороны поднявшегося на дыбы тевтонского фантома понадобится прищипорить русский патриотизм, еще вчера именуемый шовинизмом, он это сделает не колеблясь. Ставить нужно на сильнейшего, только узду следует держать рукой еще более мощной, безжалостно истребляя тех смутьянов, которые вздумают обращать русскую мечту не только против чужеземного, но и против внутреннего деспотизма.

Двадцатые... Какие нации в те годы выглядят доминирующими, а какие угнетенными? Антисемиты, как известно, считают, что доминировали евреи, а угнетали русских. Двухтомник Солженицына «Двести лет вместе» не только резко расширил круг сторонников этого мнения, но и придал ему респектабельности. Но я давно считаю угнетенным тот народ, который вынужден стыдиться своего имени. Национальный подъем и национальный упадок происходят прежде всего во внутреннем мире людей, в их психике. И если членам какой-то нации становится опасно произнести вслух ее имя, признаться в гордости за ее прошлое, в надеждах на ее будущее, — однако это рождает в них гнев и удвоенную любовь к своему униженному народу — это для меня признак бесспорного национального подъема. Если же сколь угодно много отдельных индивидов из этого народа добиваются блестящих успехов на всех мыслимых поприщах, но становятся равнодушными к своей национальной грезе, к прошлому и будущему своего народа, — для меня это несомненный национальный упадок.

Народ — это прежде всего греза; крепнет греза — подъем, слабеет — упадок. А потому все цифры — столько-то евреев проникли туда-то и туда-то, сюда-то и сюда-то, а столько-то русских расстреляно, сослано и проч., — это совершенно не говорит о чьем-то национальном торжестве или национальном поражении. Если, повторяю, евреи массами добиваются личного успеха, отпадая при этом от своего народа, — для народа это не успех, а поражение.

И наоборот. Доминирует та нация, чья греза является доминирующей. И чья же греза преобладала в двадцатые годы? По-моему, ничья. Под свирепым оком грезы интернациональной ни одна национальная фантазия не смела и шелохнуться.

Сколько бы тысяч евреев ни вливалось в большевистскую верхушку, пытавшуюся возглавить всемирную армию пролетариев против буржуев, о положении еврейского народа будут говорить не успехи этих идеалистов, карьеристов и ловкачей, а положение тех евреев, кто сознательно остался со своим народом, чтобы сохранить его язык и фантазии, чтобы поэтизировать его прошлое и что-то делать для его воображаемого будущего. Иными словами, отношение советской власти к еврейскому народу определялось отношением не к тем, кто от него отпал, а к тем, кто отпасть не пожелал — к еврейским националистам, как их называли большевики. И вот они-то, «еврейские националисты», видели очень мало ласки от обновленной матери-родины.

Солженицын на протяжении чрезвычайно плотно забитых цифрами и фактами тридцати пяти страниц повествует о массовом проникновении евреев в крупные города, в аппарат советского управления, — причем вроде бы чем выше, тем гуще, — в учебные заведения, в комсомол... Да, и в нэпманы, но и в чека, и в армию, и дипломатический корпус, — впрочем, все это читано у патриотов в кавычках и без не раз, не два и не двадцать. Но что думали, какие чувства испытывали эти выдвигенцы по отношению к тому народу, из которого вышли, об этом ни у кого из них нет ни слова. Хотя *лишь эти чувства* и определяли, было это торжество или поражение еврейского народа.

И я уверен, что новая еврейская элита была в массе своей патриотичной по отношению к новому интернациональному государству и антипатриотичной по

отношению к тому народу, из которого она вышла, — кто еще писал о еврейской жизни с таким отвращением, как Багрицкий: еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки... Если так, то не исключено, что, начав вытеснение евреев из государственной элиты, советская власть упустила возможность окончательного решения еврейского вопроса. Да, конечно, евреи, если их не придержать, заполнили бы государственную, научную, финансовую, хозяйственную, культурную элиту далеко не пропорционально их доле среди населения. Это, разумеется, было бы неприятно, но — через одно-два поколения почти все они перестали бы быть евреями, вступив в смешанные браки, да и просто сами по себе утратив интерес к бесполезным и, как это всегда видится со стороны, бессмысленным еврейским грезам. Неужели ради этой великой цели русскому народу не стоило потерпеть несколько десятилетий?.. Но терпение никогда не относилось к числу народных добродетелей...

Солженицын подробно повествует, как массовый социальный рост евреев в двадцатые годы вызывал еще более массовую ненависть к ним; но он не особенно задумывается о том, что эти же годы были годами массового отпадения от еврейства. Была ли советская власть проеврейской или антиеврейской — этот вопрос решается не действительно шокирующими процентами евреев, уверенно шагавших в ее первых рядах вместе с русскими, латышами и грузинами, а, наоборот, тем, как она относилась к евреям, пожелавшим оставаться евреями. Поощрялось ли такое желание или становилось неудобным, а то и опасным для тех, кто подобное желание испытывал?

Вот как изображает положение евреев в двадцатые годы сам Солженицын, вообще-то склонный больше подчеркивать то, что сближало евреев с «большевицкой» властью, чем то, что их разделяло. Столь подробно я цитирую Солженицына именно потому, что он авторитетен и для антисемитов, которые постоянно используют его в качестве щита и уж никак не упрекают его в излишнем сочувствии и снисходительности к еврейскому племени.

«На жизни рядовых советских евреев почти от самого Октября и насквозь до конца 20-х годов ошутимейше отозвалась деятельность *евсеков* — членов *Евсекций*. Помимо государственного Еврейского Комиссариата при Наркомнаце (с января 1918 и по 1924) — деятельно строилась активная еврейская организация при РКП(б). *Евкомы* и *евсекции* поспешно создавались в губерниях уже с весны 1918, едва ли не опережая центральную Евсекцию. Это была среда, фанатически увлеченная коммунистическими идеями, даже ярее, чем сами советские власти, и в известные моменты опережая их в проектах. Так, по настоянию Евсекции в начале 1919 Еврейский Комиссариат издал декрет, объявлявший иврит «языком реакции и контрреволюции» и предписывавший преподавание в еврейских школах на языке идиш. Центральное бюро евсекций состояло при ЦК компартии, много местных евсекций действовало в бывшей *черте*. Основное предназначение евсекций сводилось к коммунистическому воспитанию и советизации еврейского населения на родном языке идиш».

«Еврейская культура продолжала существовать, и даже получила немалое содействие, — но на условиях советской власти. Глубина еврейской истории — была закрыта. Это происходило на фоне полного, с арестами ученых, разгрома русской исторической и философской наук».

«Литература на идише поощрялась, но, разумеется, с направлением: оторвать от еврейского исторического прошлого, “до Октября” — это только мрачный пролог к эпохе счастья и расцвета; чернить все религиозное и искать в советском еврее “нового человека”».

«Что же до русскоязычной еврейской культуры, то евсеки трактовали ее “как порождение ассимиляторской политики властей в дореволюционной России”. Среди писателей на идише во 2-й половине 20-х годов произошло размежевание между “пролетарскими” писателями и “попутчиками”, как и во всей советской литературе. Наиболее крупные еврейские писатели ушли в русскоязычную советскую литературу».

«Притеснения сионизма усугублялись и запретами против иврита».

«Во второй половине 20-х годов преследования сионистов возобновились, резко сократилась замена приговоров на высылку из СССР».

Солженицын отнюдь не скрывает и преследований, обрушившихся на иудейскую религию. Но перечисление звонких еврейских имен в советской культуре — евреи в кино, евреи в театре, евреи в живописи, евреи в музыке — создает впечатление успеха еврейского народа.

«Разумеется, — пишет Солженицын, — евреи были лишь частью трубно шагавшей пролетарской культуры. И в победном воздухе раннесоветской эпохи искренно не замечалось, не ощущалось потерей, что советская культура интенсивно вытесняла культуру русскую».

Да, вытесняла. Но и еврейскую вытесняла. Это было открыто провозглашаемая цель — создание интернациональной культуры. И в итоге в чью культуру влились произведения, выдержавшие испытание временем, — в русскую или в еврейскую? Частью чьей культуры они сделались в глазах всего мира? Чья литература сумела впоследствии выделить наиболее мощную патриотическую ветвь — русская или еврейская? Еврейская почти не существовала, а потому и не смогла развиваться во что-то стоящее хотя бы для собственного народа, а русская смогла. Ей было из чего возрождаться, а еврейской было не из чего.

Чтобы унять тревогу национальных меньшинств за сохранность своих грез, Сталин объявил, что партия берет курс на «коренизацию» кадров, курс, намеченный еще в 1921 году X партийным съездом. Национальная политика Ленина-Сталина была избрана давно и дальновидно: чтобы победить врага или просто склонить на свою сторону несогласного, нужно прежде всего разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, нужно убедить его, что ей ничего не угрожает. (Об этом сейчас забывает Запад по отношению к России, тем самым мобилизуя русских вокруг своих грез, автоматически становящихся все более агрессивными: агрессия автоматически порождается страхом. Не исключено, впрочем, что в этом и заключается стратегическая цель — озлоблять Россию, чтобы получать поводы к ее вытеснению из Большой игры.) Вы хозяева в своей республике, намекал новый курс тем национальным меньшинствам, чьи представители начинали проигрывать состязание за места в органах власти: принцип «имеют значение исключительно личные заслуги» никогда не принимается проигрывающей нацией — она всегда начинает требовать какой-то выгодной для нее процентной нормы.

Преимущественное право на карьерный рост в национальных «аппаратах» обретали люди «местные, знающие язык, быт, нравы и обычаи соответствующих народов». На Украине этот процесс было естественно назвать украинизацией, в Белоруссии — белорусизацией...

В 1923 году в украинском госаппарате украинцев было 14 процентов, русских 37 процентов, евреев 40 процентов. В коллегиях республиканских наркоматов была сходная картина: украинцы 12 процентов, русские 47 процентов, евреи — 26 процентов. Будущее тоже не сулило ничего хорошего: среди слушателей Коммунистического университета в Харькове, который какое-то время был столицей Украины, евреи составляли 41 процент, русские 30 процентов, а украинцы всего лишь 23 процента. Тем не менее украинизация уже к 1926 году принесла заметные плоды: по словам генерального секретаря ЦК КП(б)У Л.М.Кагановича, в коллегиях республиканских наркоматов украинцы теперь были представлены 38-ю процентами, русские 35-ю, а евреи уже только 18-ю. Но судя по всему, и этого притока украинцев и русских было недостаточно, чтобы нейтрализовать впечатление, производимое главой республики Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Однако власть все-таки старалась: в Коммунистическом университете доля евреев снизилась до 11 процентов, а доля украинцев поднялась вдвое — до 46 процентов; русские же усилились незначительно — до 35 процентов. За эти годы и присутствие украинцев в коммунистической партии возросло примерно до той же цифры — с 33 до 47 процентов.

С которой сто
путей-дорог прошёл.
Рассвет кричит: «Эммануил, вос эрт зих?»
И я в ответ бросаю: «Хорошо!»
А он встаёт
в неровном свете буден,
Наш новый день,
прорвавшийся из тьмы.
Над всем, что было,
и над всем, что будет,
Над городом, который строим мы!

«Вос эрт зих?», как вы уже догадались, это «Как дела?».

В 37-м Казакевич чудом ускользнул от ареста, на фронте прошел путь от рядового разведчика до начальника разведотдела дивизии, помощника начальника разведотдела армии. В 1947 году в журнале «Знамя» опубликовал повесть «Звезда», принесшую ему Сталинскую премию.

Повесть начинается эпически, повествователь взирает на мир с большой высоты.

«Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей».

Далее разведчики идут в тыл врага, и автор следит за каждым их шагом, — и каждый человек виден, каждый индивидуален — истеричный храбрец, невозмутимый великан, красивый трус, юный витязь без страха и упрека, — они убивают, их убивают, за ними гонятся, окружают...

И тут снова вступает величественный эпос.

«Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем "Викинг" обречена на гибель».

Эти героические одиночки приводят в движение огромные силы исторического масштаба.

«Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. "Галиев почувал немца", — говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии "Викинг". Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку, как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу.

Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия "Викинг", и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвлечь прорыв наших войск на Польшу.

Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле: до самого Берлина и до самой Москвы».

И есть ли где-то здесь признаки каких бы то ни было национальных проблем?

Нет, весь народ, все государство действует как единый могучий организм. Нигде нет ни тени национализма или космополитизма, над всем царит могучий не этнический, но общегосударственный патриотизм.

Илья Эренбург.

Скептик, интеллигент, модернист, западник, проживший половину сознательной жизни в Париже, в 1926 году среди Тирренского моря писал в частном письме: пусть я плыву на Запад, пусть я не могу жить без Парижа, пусть моя кровь иного нагрева (или крепости), но я русский. Не удивительно, что после Двадцать второго июня голос этого еврея звучит, как колокол на башне вечевой: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», — призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике «для себя» говорит не о человеке — о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла...

«Если дорог тебе твой дом», — таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село — Русский брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают "мыслящий тростник", гений Пушкина, Шекспира, Гёте, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот «космополитизм», возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга.

Этот выход за национальные границы вовсе не отказ от патриотизма, но, напротив, его возвышение, указание на его всемирно-историческую миссию. И это опять-таки патриотизм не этнический, а общегосударственный, включающий человека в некое единое «мы».

Василий Гроссман.

Он родился в год Первой русской революции в просвещенной еврейской семье, сочувствующей «освободительному» движению, и все полагающиеся революционные мытарства, возможно, принял как неизбежность. После окончания Московского университета сделал неплохую карьеру как инженер-химик, и в его первой революционной эпопее «Степан Кольчугин», написанной в манере горьковской «Матери», видно хорошее знание донбасского производственного быта.

Как специальный корреспондент «Красной звезды» Гроссман всего повидал на многих фронтах, а во время битвы за Сталинград оставался в городе все страшные дни и ночи, в том числе и на передовой. Виктор Некрасов впоследствии вспоминал, с каким уважением бойцы относились к Гроссману, державшемуся подчеркнуто по-штатски, хотя многие военные корреспонденты любили изображать прожженных окопных волков.

Гроссман лишь после освобождения Бердичева узнал, что его мать еще в сентябре 1941-го была расстреляна нацистами, и тема Холокоста осталась его личной болью до конца его дней. После войны вместе с Эренбургом они составили «Чёрную

книгу» свидетельств и документов о Холокосте, но в Советском Союзе книгу издать отказались, опасаясь, что трагедия евреев заслонит общенародную трагедию.

Однако общенародной трагедии Гроссман посвятил грандиозную дилогию «За правое дело» и «Жизнь и судьба», над которой он работал с 1946 по 1959 год. Даже и первая книга, наспигованная всеми положенными славословиями Сталину и партии, проходила в печать с трудом и подвергалась опаснейшим наездам, но во второй, «оттепельной», Гроссман дал себе волю. Там были и лагеря, и доносчики-комиссары, и Холокост — но и богатырский образ народа, великое Мы, сломившее самую могучую военную машину в мировой истории. Роман мог выйти в журнале «Знамя» года на два раньше солженицынского «Ивана Денисовича» и наверняка сделался бы еще большей мировой сенсацией, но — рукопись романа оказалась в КГБ. Была ли это инициатива главреда Вадима Кожевникова, или к этому привел общий порядок контроля, но роман был арестован вместе со всеми разысканными экземплярами.

Гроссман требовал «вернуть свободу» главному труду его жизни, но верховный советский идеолог Суслов четко разъяснил, что роман может быть напечатан в СССР не раньше, чем через 200—300 лет.

Гроссман ненадолго пережил эту катастрофу, а вот роман, сохранный и вывезенный за границу, многими признается «Войной и миром» 20-го века. Роман действительно могучий, но все-таки он довольно-таки ученически воспроизводит схему «Войны и мира» вплоть до того, что, наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свой сверхчеловеческий апломб и понимает, что беззащитен перед случайным ядром или отрядом противника — и впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой — и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые только что обсуждал с олимпийским спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман усматривает источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»...

«В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное "мы" обращается в робкое, хрупкое "я", а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное "они".

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки, я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг — я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня...

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы».

Сила духа в единстве, в ощущении единого «мы», и у Гроссмана нет ни намек на выделение в этом «мы» каких-то этнических частей.

Даниил Гранин.

Сегодня всем желающим известно, что он еврей, хотя Гранин всегда воспринимался писателем русской национальности, тем более что еврейской темы я у него припомнить не могу. А в последние его годы я довольно регулярно с ним общался, и он никогда не говорил о личных трудностях — только о проблемах страны. И национального аспекта в них, похоже, просто не замечал.

И лучшую свою книгу «Мой лейтенант» он опубликовал уже в 2012-м, когда можно было писать любую правду о чем хочешь. Однако самую острую правду он написал о своем альтер эго.

Лирического героя «Моего лейтенанта» мы видим то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то насмерть перепуганным ребенком, способным разрыдаться от ласкового слова, а после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война воняет мочой». Зато именно поэтому мы и проникаемся к нему трепетным сочувствием и абсолютным доверием — и понимаем, что именно так и происходит преобразование перепуганного мальчишки в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Гроссман, напоминая, усматривал источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и физического распада армии на группы измотанных одиночек, не только не имеющих никакой материальной связи с армейским целым, но допускающих даже, что и не только Ленинград, который они обороняли, но и — почему бы и нет? — может быть, и Москва сдана немцам. И, скитаясь по лесам, одна из таких группок встречает на пути обгорелого майора — «лиловые щеки в пузырях», — который не собирается заканчивать войну, как бы далеко ни забрались немцы: абсолютно без всякого приказа сверху он собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там будем поглядеть. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение «разумному предложению», и майор в ответ гаркает: «Это не предложение, это приказ!»

Эту сценку можно рассматривать как комментарий к той свободомыслящей доктрине, что война была выиграна благодаря заградотрядам. В «Моём лейтенанте» есть и еще одна сильная сцена, иллюстрирующая, насколько немисливо запугать вооруженную массу, неделями ведущую безнадежную борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых выбрался из окружения лишь благодаря персональной удаче, и даже грозит: а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его убитым вместе с напарником.

И все-таки главный вектор остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок-смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете, а младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: вот чего все это стоит, когда речь идет о жизни и смерти государства. И это делает не товарищ Сталин или товарищ Жданов, не дикарь и не варвар — еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими потерями для

культурных ценностей. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!» Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее пассионарной части народа — той части, на которую она и опиралась.

Однако и Гранин в этом пассионарном ядре не выделяет никаких национальных фрагментов — народ снова предстает единым целым.

У Ремарка картина иная.

Герой-рассказчик («На Западном фронте без перемен») особо отмечает храбрость новобранцев, «этих несчастных шенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником». У фронтовиков имеется и национальная гордость: «Национальная гордость серошинельника заключается в том, что он находится здесь. Но этим она и исчерпывается, обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узко личной точки зрения».

Зато в «Возвращении» с приближением мира впервые возникает ротный командир обер-лейтенант Хеель, который ходит в дозор с тростью. И когда еврей Вайль приносит газету с сообщением о том, что в Берлине революция, Хеель комкает газету и кричит: «Врешь, негодяй!» А потом, оставшись в одиночестве, сидит в солдатской куртке без погон и плачет.

И наконец, прощаясь с однополчанами, поджав губы, говорит Вайлю:

«— Ну вот, Вайль, вы и дождались своего времечка.

— Что ж, оно не будет таким кровавым, — спокойно отвечает Макс.

— И таким героическим, — возражает Хеель.

— Это не все в жизни, — говорит Вайль.

— Но самое прекрасное, — отвечает Хеель. — А что ж тогда прекрасно?

Вайль с минуту молчит. Затем говорит:

— То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. В этом тоже есть свой героизм, господин обер-лейтенант.

— Нет, — быстро отвечает Хеель, словно он уже не раз об этом думал, и лоб его страдальчески морщится. — Нет, здесь одно только мученичество, а это совсем другое. Героизм начинается там, где рассудок пасует: когда жизнь ставишь ни во что. Героизм строится на безрассудстве, опьянении, риске — запомните это».

Казалось бы, еврей-пацифист и выражает общее мнение, но нет. Когда изголодавшаяся, оборванная немецкая армия уже после капитуляции сталкивается с сытыми, великолепно экипированными американцами, в проигравших пробуждаются совсем не пацифистские чувства.

«Мы не знаем, что с нами происходит, но если бы сейчас кто-нибудь обронил хотя бы одно резкое слово, оно — хотели бы мы того или нет, — рвануло бы нас с места, мы бросились бы вперед и жестоко, не переводя дыхания, безумно, с отчаянием в душе, бились бы... Вопреки всему, бились бы...»

Советские же писатели еврейского происхождения не несут никакого пацифистского начала.

Напрашивается итог: тогдашнее поколение советских евреев было практически лишено националистического начала, противопоставляющего себя общенародному. И когда биробиджанский писатель Борис Миллер в газете «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда») опубликовал список евреев — Героев Советского Союза, в этом проявлении национальной гордости было не больше сепаратизма, чем в гордости солдат своим полком отчужденности от дивизии и армии. В «Волоколамском шоссе» Александра Бека главный герой — казах, он спокойно говорит, что гордился рядовым-соплеменником, умеющим разбирать пулемет: мы, казахи, тоже становимся народом механиков, — и никакого национализма в этом никто не усмотрел.

Миллер, однако, получил десять лет за еврейский национализм. И это было хуже, чем преступление, это была ошибка. В итоге преследования за вымышленную вину на много лет породили реальное взаимное недоверие и отчуждение.

Преследования за которое его только усиливало.

Этот порочный круг разорвало лишь падение советской власти.

От биробиджанских, например, поэтов и прозаиков она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбылась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве — хотя в дружной семье советских народов повсюду живется одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своем родном языке — хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы — хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас все равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона, — хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно — хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и писателей карали именно за отступления от него.

Картина Биробиджана во время войны в основном сходна с привычной картиной советского тыла: энтузиазм, непосильный труд, пожертвования, недоедание на грани голодной смерти... При том, что в те годы громче всего зазвучали призывы именно к русскому народу (Сталин осуществил открытую мобилизацию русских грез, справедливо полагая, что в случае победы, которая без их поддержки весьма сомнительна, он сумеет удержать их в узде), еврейский народ сделался одним из тех немногих народов, чье имя было использовано в пропаганде, предназначенной для западного слуха (внутри же страны постарались убрать хотя бы с глаз долой эту красную тряпку, которую и без того постоянно совала населению под нос гитлеровская пропаганда: вы воюете из-за евреев, вы защищаете евреев... Лучше уж и впрямь массовые убийства евреев обтекаемо называть убийствами «мирных советских граждан»). В мае 1942 года в Москве состоялся митинг, послуживший прелюдией к образованию Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Известные в Союзе и даже в мире советские евреи обратились к евреям всей планеты с призывом приобрести для Красной армии 1000 танков и 500 самолетов: «От тех, кто сражается сегодня с гитлеровскими ордами, зависит будущее всего мира и, в частности, еврейского народа». В ответ еврейскому антифашистскому комитету в город Куйбышев была направлена из ЕАО телеграмма о сборе денег в количестве 7 700 500 рублей, в том числе на строительство танков и самолетов 489 700 рублей, и теплых вещей для фронта на сумму 65 523 рубля.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Об уничтожении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грез, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа... Который, возможно, раздражал Сталина еще и тем, что отказывался вести себя в соответствии с его теориями — труп отказывался разлагаться. Кстати, и новая власть, после смерти отца народов отменившая расстрельный приговор, все-таки посмертно попеняла саковцам за их бестактное поведение — за попытки «некоторых из осужденных» присваивать себе несвойственные им функции: вмешиваться в решение вопросов о трудоустройстве лиц

еврейской национальности, возбуждать ходатайства об освобождении заключенных евреев из лагерей. И вообще — мелькали.

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в Еврейской автономной области! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, примерно в это же время воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождях не лишённое оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Все, что связывалось со словами «еврейский», «еврейское», в Еврейской автономной области теперь именовалось буржуазным национализмом, — как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А.Н.Бахмутского в попытках создать в Еврейской автономной области еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской Конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской — так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А.Н.Бахмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слезы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте».

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П.В.Симонова, обращенные к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты Еврейской автономной области, в отличие от тридцать седьмого года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же: «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке — это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер), 1913 года рождения, образование высшее, писатель, был обвинен в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина, — в итоге десять лет, правда, с правом переписки. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» Б.Миллер опубликовал список евреев — Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение — «еврейский народ» противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати. Противоречит, но употребляется...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан — мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну — Биробиджан.

Следователь: Признаете, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нем допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну — Биробиджан».

Биробиджан не страна, а областной центр. Не забывайте!

В итоге те же десять лет, отштемпелеванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году, в день Советской армии А.Н.Бахмутский был приговорен к расстрелу, замененному после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году за месяц до XX съезда сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной неизвестности.

Любопытно, кстати, что синагога, вызывавшая особый патриотический гнев («Для синагоги нашли помещение, а для ДОСААФа не можете!»), была закрыта уже после смерти Сталина, в ноябре 1953 года.

И вся эта вакханалия была запущена из-за фантома — несуществующего буржуазного еврейского национализма.

По крайней мере, у писателей и поэтов фронтового поколения его обнаружить не удастся. Разве что они были гораздо сильнее ранены Холокостом, чем остальное население СССР, но и в этом было не больше отчуждения от страны, чем в каждом, кто оплакивает гибель близких. Советская из советских Маргарита Алигер об этом и написала в 1945 году.

Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?»
<...>

Поколение взрослых на свободе
в молодом отечестве своём,
мы забыли о своём народе,
но фашисты помнили о нём...
<...>

Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровой
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь...

Этот голос вовсе не зовет ее подальше от той земли, которая взрастила, стать большой и гордой помогла. Напротив, только с нею евреи могли идти по дороге мести.

Они были готовы и дальше идти вместе с нею и по дороге мести, и по дороге творчества.

Да, в общем-то, они и продолжали по ней идти, даже и чувствуя себя незаслуженно оскорбленными.

Но их дети мириться с этим уже не желали.